

ДЕНКА КРЫСТЕВА
Шумен (Болгария)

КРОКОДИЛ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО КАК ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПОВЕСТЬ (ЗАМЕТКИ К СЛОВАРИЮ АЛЛЕГОРИЙ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ИСТОРИИ)

В анализах повести Достоевского *Крокодил* литературная критика, сосредоточенная на выявлении полемики с либеральными идеями, как правило, не обращает внимания на образ чудовища. В новейшем исследовании К. Богданова, посвященном освоению экзотизма «крокодил» и лингво-культурологическому анализу развития этого понятия на русской почве, было высказано мнение, что в повести Достоевского оно не формирует коннотативных значений, кроме допустимых в идейно-типологической ретроспективе ассоциаций с Левиафаном – символом Вавилонского царства и с *Левиафаном* Томаса Гоббса, впервые переведенном на русский язык в 1864 году¹. Вслед за К. Богдановым, А. Беззубцев-Кондаков толкует образы «крокодила» и им проглоченного проповедника как символические обозначения Петропавловской крепости и заключенного в ней Чернышевского и как прообраз репрессивного советского государства².

На наш взгляд, выявление ассоциаций с Левиафаном в идеологическом контексте 1860-х годов заслуживает специального внимания. Постановка такой задачи в настоящей статье связана с намерением представить «петербургскую историю с крокодилом» как эпизод в истории жанра «петербургской повести», что, в свою очередь, требует тщательного анализа образа чудовища. Правомерность трактовки «необыкновенного события с крокодилом, проглотившим петербургского чиновника», – трактовки именно как эпизода пространного петербургского нарратива – подсказывает игра слов в подзаголовке «пассаж в Пассаже» с отсылкой к реалии Петербурга – Пассажу.

¹ К. Богданов, *О Крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов*, Москва 2006, с. 213.

² А. Беззубцев-Кондаков, *Когда крокодилы были левиафанами... Крокодил в русской литературе: от Федора Достоевского до Эдуарда Успенского*, «Топос». Литературно-философский журнал, март 2006.

Каковы могут быть толкования рассказанного Достоевским *пассажа* в соотнесении с «петербургской повестью», как особой идеологической, художественной формой, созданной Пушкиным с акцентом на историософское осмысление петербургского периода русской истории и затем развитой Гоголевским интересом к Петербургу как к выставке абсурдов?

Если рассмотреть поэму *Медный всадник* как символическое означение истории просветительского Общественного договора, совпадающей с петербургским периодом XVIII–первой трети XIX века, тогда становятся очевидны два ее этапа. После договора между Властелином и им обузданной стихией Государства-Зверя следует кризис и разрыв. При расшифровке историософского смысла проглатывания/гибели Петербургской культуры в пасти Зверя бунтующего Государства, кодом может служить метафорика *Книги Иова* с разгневанным Левиафаном. На возможность соотнесения пушкинской поэмы с Библейской книгой для обозначения разрушенных представлений о упорядочении мира Богом и о правящей миром сатанинской силе в свое время указал Ю. М. Лотман³. В других наших работах мы рассматриваем *Книгу Иова* наряду с *Левиафаном* Гоббса как возможные творческие источники концепции петербургской (абсолютистской) общественной договоренности в творчестве М. Ломоносова, и художественного способа её проверки-испытания в *Медном всаднике* Пушкина⁴.

Эти наблюдения дополнительно разъясняют задачу настоящей статьи – показать «петербургскую повесть с крокодилом» как вариацию историософских представлений о петербургской истории с организующей её смысл аллегоризацией, которая входит в круг представлений об общественной договоренности и об абсурдах петербургской истории. Имея в виду метафорическую основу идеологического воображения (по Кл. Гирцу), проверим возможность реконструировать ассоциации с Левиафаном в

³ Ю. Лотман, *Об «Оде, выбранной из Иова» Ломоносова*, [в:] *Из истории русской литературы*, Москва 1996, т. 4, с. 637–656.

⁴ Д. Кръстева, *Звярът и Левиатанът в «Ода, избранна из Иова» на Ломоносов и «Медный всадник» А. С. Пушкина (Към въпроса за изворите на руския текст за Владетеля и Държавата през XVIII–началото на XIX век)*, Шумен 2002, с. 71–83; *Зверь/Бегемот и Змий/Левиафан в «Оде, выбранной из Иова» М. В. Ломоносова (о политических аллегориях в системе абсолютизма и русской литературе XVIII века)*, [в:] *Реката на времето. Река времен*. Сборник статии в памет на проф. Людмила Боева. София 2007, с. 163–173.

повести *Крокодил*, обращаясь к синхронному политическому контексту 1860-х гг. с центральной в нем дискуссией о политическом устройстве России. Наши наблюдения над ассоциациями как механизмом построения аллегории, связанной с образом Крокодила, сосредоточим на заглавии повести и ее экспозиции.

Достоевский работает над повестью в 1864 году, т.е. во время появления первого перевода на русский язык *Левиафана* Томаса Гоббса и последовавшего «ареста» книги царской цензурой по внушению духовенства. Поводом запрета на распространение книги была несовместимость идей об абсолютистском общественном договоре между сувереном и безусловной покорностью подданных с официальным сценарием Александра II о любви и привязанности между кротким монархом и благоговеющим народом. Современные реконструкции сценария подтверждают важность его конкретных реализаций: во время коронации и церемониального путешествия Александра II по России в 1855 году⁵, а также во время празднества Тысячелетия России, отмеченного в Новгороде в 1862 году со спектаклем-метафорой *Полюбовная сделка* по пьесе А. Шаховского⁶.

Несовместимость попыток Дворца демонстративно утверждать идею общественного договора и общего смысла политической концепции Гоббса очевидна.

Совпадение во времени таких фактов как: появление *Левиафана* на книжном рынке (с его последующим арестом) и работы Достоевского над повестью *Крокодил* (публикация – 1865 год) позволяет интерпретировать, на основании синонимии «левиафан – крокодил», образ крокодила в повести как аллереорию, а её фантастический сюжет как литературную маску. Аллереория становится здесь элементом необходимого в данной ситуации механизма, используемого для иносказательного толкования неофициальной концепции абсолютизма, и для диалога со всякого рода знаками/голосами его неприятия.

У Достоевского после десятилетнего испытания – арестованного, приговоренного к смерти, каторжника, оказавшегося в «пасти» беспощадной

⁵ Р. Уортман, *Сценарии власти. Мифы и церемонии русской монархии*, Москва 2004, т. II. с. 45–50.

⁶ О. Майорова, *Бессмертный Рюрик*, «Новое литературное обозрение» 2000, № 43, с. 327–346.

власти – было достаточно оснований для того, чтобы мыслить, что правление Россией осуществляется «по Гоббсу». Предлагаемый нами способ прочтения петербургской повести о Крокодиле в категориях метафоризации политических взглядов писателя находит поддержку в общеизвестном его разуверении в утопиях Просвещения и социализма, которое отразилось и в *Записках из подполья* (1864), и в контексте религиозно-философского осуждения аморализма, порождаемого желанием властвовать, середины 1860-х гг. в *Преступлении и наказании*. Важно припомнить, что Достоевский прервал работу над *Преступлением и наказанием*, чтобы написать повесть *Крокодил*.

Осуществлению художественного замысла – метафоризации государства в виде политического тела – мог способствовать также литературно-идеологический контекст, сложившийся во время абсолютистского правления Николая I, с коллективным воображением спящей России.

Метафора политического сна государства активно утверждается в антимонархической поэзии 1840–1860-х гг., в поэзии славянофилов, демократов и западников. Она приобретает значения пародии на Общественный договор, например, в образе «царя, охраняющего спящее царство». Обобщением подобных политических представлений о спящем политическом теле является символическое определение Колокола в программном предисловии к первому номеру вольного журнала Герцена и Огарева в 1857 году:

Звучит, раскачиваясь, звон,
И он гудеть не перестанет,
Пока – спугнув ночные сны,
Из колыбельной тишины
Россия бодро не воспрянет.
(«Колокол», 1857, № 1, с. 1).

Десятилетняя литературно-идеологическая рефлексия, приведшая к реформе 1861 года, осуществленной Дворцом – это проблема того времени, когда Достоевский создавал свою фантастическую повесть. Можно полагать, она и находится в основе метафоризации разбуженного политического тела.

Как представляется, Достоевский вступает в дискуссию, ставя акцент на опасности, связанные с обеспокоенным после указа о социальных переменах в государстве «политическим телом». Они нашли свое образное проявление в шатании огромного человеческого множества, оставшегося «без земли и хлеба», и ставшего на дорогу в город либо в раскольнический скит. С таких позиций, в связи с трактатом Гоббса о Силе Власти и безоговорочном подданстве, что нашло свое обобщение в образе укрощенного Левиафана, вполне могли возникнуть общественно-идеологические ассоциации с поведением Зверя-Государства в ситуации общественного беспокойства. В этом усматриваем возможную причину уточнения заглавия *Крокодил* и перенесения первоначального названия повести в позицию подзаголовка (*Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже*).

В таком контексте «заигрывание со спящим крокодилом и его пробуждение» – завязка в композиции петербургской повести, пока научно не исследованная – представляется неслучайным. На наш взгляд, Достоевский обновляет библейскую образность, связанную с раздражением Левиафана – чудовища зла и хаоса из Книги Иова. Хорошо известно, что Книгу Иова Достоевский считал самой сильной из всех библейских книг.

Сравнительный анализ позволяет установить текстуальное сходство между смыслом слов Библии о недостижимости чудовища хаоса и морской стихии и испытанием крокодила в экспозиции повести.

Двери лица его кто отверзет; окрест зубов его страх (Иов 41: 5)⁷.

О, не бойся, друг мой, – прокричал нам вслед Иван Матмеич, приятно храбрясь перед своей супругою. – Этот сонливый обитатель фараонова царства ничего нам не сделает [...] Мало того, взяв свою перчатку, он начал щекотать ею нос крокодила... Я увидел, – о боже! – я увидел несчастного Ивана Матвеича в ужасных челюстях крокодиловых [...]⁸.

Если принять, что библейский мотив о ужасном Змее/Левиафана и боязни его раздражения в Книге Иова является творческой моделью, то сюжет фантастической «петербургской истории с крокодилом» включает в себе нарушение заклинания оберегать покой левиафана, и при этом литературный сюжет отображает здесь социально-политические воззрения.

⁷ Елизаветинская библия. Электр. изд. Донецк 2002.

⁸ Ф. М. Достоевский, *Полное собрание сочинений в тридцати томах*, Ленинград 1973, т. 5, с. 181–182.

Это дает основание считать, что мотив заигрывания с сонливым крокодилом становится метафорическим описанием общественно-политического контекста 1860-х годов, синхронного с описанием раздражения политической громады, грозящей проглотить тех, кто с нею заигрывает.

Следственно, можно считать, что в петербургской повести с крокодилом Достоевский осуществляет перевод комплекса социально-политических представлений Гоббса о расшатавшемся государстве на язык популярных представлений о Крокодиле в связи с Владетелем и расшатавшимся Государством. Таким образом, он предлагает новую версию интерпретации петербургской истории: Петербург – город Крокодила. Весомым аргументом в пользу такого прочтения петербургской истории является образ немца-крокодилщика с его притязанием на власть над чудовищем:

[...] Мейн фатер показаль крокодиль, мейн гросфатер показаль крокодиль, мейн зон будет показать крокодиль, и я будет показать крокодиль⁹.

Этот сигнал позволяет утверждать, что в истории с крокодилом Достоевский разделяет популярную оппозиционную точку зрения о Владетеле – русском немце, и о новых порядках петербургского периода, определивших его «немецкий» (чужой и враждебный) облик. Его угрозу для коренных русских начал усиливает в повести идея разведения крокодилов под Москвой и в Пресненских прудах.

В связи с вышесказанным возникает необходимость рассмотреть русские религиозно-политические контексты употребления понятия «крокодил», актуальные во время работы над повестью.

В сознании религиозного современника Достоевского образ Крокодила с синонимом Змея присутствует в контекстуальной связи с библейской символизацией злого жестокосердого властелина и его царства: Египетского царства фараона-крокодила и богоизбранного народа в его плену (Пс 73:14), а также греховного Вавилона (Исайя 27:1). Богослужбная практика ежедневной Вечерни поддерживает «эхо» библейского сюжета о «египетском пленении в фараоновой земле крокодила» в паремийных чтениях из Исхода. Вне храма библейский сюжет непрерывно звучит в

⁹ Ф. М. Достоевский, *Полное собрание сочинений...*, т. 5, с. 184.

старообрядческом слове с середины XVII столетия. Мотивы враждебности Богу земного владельца-крокодила, пленения богоизбранного народа в сатанинском царстве и поиска «Исхода» из него поддерживают изоморфизм между библейским рассказом о спасении от «греховного крокодила» и раскольнической моделью новой, петербургской русской истории.

Интерес Достоевского к образу Крокодила можно связывать также с интересом писателя к Расколу, в первую очередь, благодаря публикациям документов о старообрядчестве в 1860-е годы. В библиотеке писателя находились исследования о старообрядчестве; интерес к этой проблематике нашел отражение также в его статье *Два лагеря русских теоретиков* 1862 года.

Раскольничьи дела Г. Есипова¹⁰, *Рассказы из истории старообрядцев* С. Максимова¹¹, публикация Следственных материалов Тайной канцелярии М. Семевского¹², материалы о старообрядчестве на страницах журнала братьев Достоевских «Время», изданные в 1864 году очерки о Расколе Мельникова-Печерского – таков набор книг в библиотеке Достоевского в начале 1860-х гг. Из этих книг Достоевский мог узнать о старообрядческом восприятии земной власти царя и патриарха как враждебной силы Змея (или образов со сходным символическим смыслом: крокодила, дракона, левиафана, дьявола). Например:

Невидимый змий, проклятый дьявол и сатана, входит в изобретенные свои сосуды, в двоицу окаянных человек – царя и патриарха [...]¹³

Никон [...] на своем скверном жезле змии антихристовы немецкою хитростию устрои [...] некий мерзкий и престашный, чермный змий на плечах его висит, ползая [...]¹⁴.

Об устойчивости подобных представлений о царе-патриархе во время Достоевского свидетельствуют синхронные документы. Распространенное пророчество о Николае I гласит: «Змей будет править 30 лет» и вещает его смерть к 1855 году. В показании во время следствия о хулении Александра II и его императорского титула старообрядец И. Ермаков говорит:

¹⁰ Г. В. Есипов, *Раскольничьи дела XVIII столетия: в двух томах*, Санкт-Петербург 1861–1863.

¹¹ С. В. Максимов, *Рассказы из истории старообрядцев*, Санкт-Петербург 1861.

¹² М. И. Семевский, *Слово и дело! 1700–1725: в двух частях*, Санкт-Петербург 1861–1862.

¹³ А. С. Павлов, *Происхождение раскольничьего учения об антихристе*, «Православный собеседник», 1858, май, с. 300–301.

¹⁴ П. Мельников, *Исторические очерки поповщины*, Москва 1864, ч. I, с. 10.

Титул же императорский [...] Петром Великим заимствован с нечестивого папы римского. Титул император значит Перун, Титан или Дьявол¹⁵.

Контекстуальная связь между лексемами «дьявол», «змей» и «крокодил», утверждаемая в библейских и старообрядческих книгах, в устном слове, вероятно, могла бы дополнить ряд инвективных этимологизаций императорского титула в мышлении о Александре II – Дьяволе/Крокодиле. Впрочем, представление о императоре-крокодиле ведет свою традицию с времен старообрядческих инвектив начала XVIII века, направленных против Петра I, – лютого змея, крокодила. О частотности их употребления в сфере неофициальных представлений о Властелине до второй половины XIX века свидетельствует широкое распространение народной лубочной картины, тогда вызвавшей общий интерес.

Для оформления на концептуальном уровне представлений о Крокодиле как эмблеме политического бытия в петербургской истории важен синхронный контекст публицистики и художественного творчества.

В славянофильской и, близкой к ней, почвеннической картине мира существен резонанс старообрядческих представлений в общей тематизации Вавилона и Египта – ветхозаветного царства крокодила – исключительно в значении политических понятий. Пример тому – восприятие греховного Петербурга-Вавилона в тексте Е. Милькеева (*Вавилон*, 1842), как и оценка этого текста в среде русских славянофилов, связанная с отрицанием петербургской императорской истории. На концептуальном уровне тождество Петербург–Вавилон содержит библейскую конструкцию *царство крокодила*.

На этой основе можем сделать заключение, что повесть Достоевского реинтерпретирует оппозиционные представления о Петербурге–Вавилоне–царстве Крокодила.

Интерес Достоевского к *Книге пророка Исайя*, проявившийся в письмах (к Н. Фонвизиной от 8 ноября 1853 г.), во внимании к образности *Пророка* Пушкина, заимствованной из той же Книги Ветхого завета, – всё это дает основание предполагать, что именно тогда писатель обратился и к образу Крокодила (Исайя 27: 1).

¹⁵Цит. по: К. Богданов, *О Крокодилах в России...*, с. 240.

Замену европейского политического понятия Левиафан знакомым русскому народному сознанию эквивалентом Крокодил можно вписать в почвенническую идею Достоевского о преодолении социально-политического разноязычия и хаоса в пореформенной России, о сближении между образованной элитой и «почвой» социальных слоев, оставшихся при русской религиозной старине и при формах патриархального общежития, не поддающихся влиянию европейской социально-политической модели жизни.

Так, образ крокодила и сама экспозиция повести Достоевского *Крокодил* являются аллегоризацией раздраженного и беспощадного социального чудовища – государства в состоянии политического беспокойства середины XIX века. Их смысловая доминанта – метафорическое обозначение неприятия радикального пути к социальным изменениям и предостережение, адресованное их новым пророкам.

Предложенные в нашей статье наблюдения над аллегоризацией очередного социального проекта, над образом Чудовища, указывают на возможность осмысления текста Достоевского как эпизода в художественной концептуализации общественного договора и выявляют смысловое родство *Крокодила* с повестями о петербургской истории.

DENKA KRISTEVA

**THE CROCODILE BY F. M. DOSTOEVSKY AS A ST. PETERSBURG STORY
(REMARKS ON THE GLOSSARY OF ALLEGORIES IN THE GENRE OF
ST. PETERSBURG STORY)**

Summary

The article discusses Dostoevsky's story *The Crocodile* as an episode in the development of the so-called "St. Petersburg story", established by Pushkin and Gogol as a specific ideological and fictional genre, connected with the symbolic representation of the St. Petersburg period in Russian history. In the analysis of the title and the exposition of the story the monster is seen as an allegory of the disquieted political body in Russia following the reforms of 1861. Among the sources of the allegory are the Biblical synonymous use of "Leviathan – Crocodile", T. Hobbes' treatise *Leviathan*, and the Russian Old Believers' invectives about The Ruler and The Crocodile-State. The analysis suggests that Dostoevsky translates the political notion of the Leviathan as a metaphor of the absolutist social negotiation through an already familiar for the Russian mentality equivalent of the Crocodile. In this respect it is assumed that the story serves as a warning about the dangers resulting from the disquieted political body.

Key words: *The Crocodile*, F. M. Dostoevsky, St. Petersburg's story, allegory, Leviathan.